## Случайный знакомый

Уильям Сомерсет Моэм

## Перевод: В. Вебер

Выйдя на палубу и увидев перед собой низкий берег и белый город, Эшенден ощутил дрожь приятного волнения. В этот ранний час солнце только-только поднялось, но море уже поблескивало, словно бескрайнее зеркало, а над головой синело небо. И теплое утро обещало знойный день. Владивосток. От одного названия становилось понятно, что ты на краю земли. Путешествие выдалось долгим: от Нью-Йорка до Сан-Франциско, потом через Тихий океан на японском судне до Иокогамы, а из Цуруки на российском корабле (на борту он был единственным англичанином) — по Японскому морю. Из Владивостока он намеревался попасть в Петроград, по Транссибирской магистрали. Задание это было самым важным из всех, порученных ранее, и Эшендену нравилось ощущение ответственности, которое он испытывал. Ему предоставили полную самостоятельность, снабдили практически неограниченными средствами (в денежном поясе, который он носил на теле, хранилась столь огромная сумма, что его шатало всякий раз, когда он о ней вспоминал), и хотя порученное дело выходило за пределы человеческих возможностей, Эшенден этого не знал и готовился к его выполнению с присущей ему уверенностью, не сомневаясь, что справится. Он с уважением относился к свойственным представителям человечества чувствам и восхищался ими, а вот интеллектуальные способности людей оценивал крайне низко: принести себя в жертву давалось человеку куда легче, чем выучить таблицу умножения.

Эшенден безо всякого энтузиазма думал о десяти днях, которые ему предстояло провести в российском поезде, и по Иокогаме ходили слухи, что в одном или двух местах взорваны мосты и железнодорожное сообщение прервано. Ему говорили, что шайки солдат, которые никому не подчинялись, ограбят его дочиста и оставят в степи на верную смерть. Такая перспектива не могла радовать. Но поезд отправлялся по расписанию, и, что бы ни произошло потом (Эшенден всегда полагал, действительность обычно отличалась от ожиданий в лучшую сторону), он твердо решил занять место в вагоне. Сойдя с корабля, он намеревался прямиком направиться в британское консульство и выяснить, позаботились ли о нем. Но по мере того как они приближались к берегу и Эшенден мог лучше разглядеть грязный и неухоженный город, у него вдруг возникло чувство одиночества. Он знал лишь несколько русских слов. Из всей команды на английском говорил только второй помощник капитана, и пусть тот обещал оказывать ему всяческое содействие, англичанин все более склонялся к мысли, что рассчитывать он может исключительно на себя. И испытал огромное облегчение, когда после швартовки к нему подошел невысокий молодой мужчина с копной растрепанных волос, по виду еврей, и спросил, не он ли — Эшенден?

— Я — Бенедикт, — представился мужчина. — Переводчик британского консульства. Меня попросили приглядеть за вами. Вам куплен билет на поезд, который отправляется этим вечером.

Настроение Эшендена сразу улучшилось. Маленький еврей взял на себя и получение багажа, и паспортный контроль. Потом они сели в ожидающий их автомобиль и поехали в консульство.

— Мне поручено содействовать вам во всем, — услышал Эшенден от консула. — Только скажите, что нужно. Билет на поезд я вам достал, но одному Богу известно, доберетесь ли вы до Петрограда. Между прочим, я нашел вам попутчика. Его фамилия Харрингтон, он — американец, едет в Петроград по делам одной компании из Филадельфии. Собирается заключить какую-то сделку с Временным правительством.

— И что вы можете о нем сказать? — спросил Эшенден.

— Ничего плохого — это точно. Я хотел, чтобы он и американский консул пришли к нам на ленч, но они уехали на экскурсию по окрестностям города. На станцию вам нужно прийти часа за два до отправления поезда. Там всегда ужасная толчея, и если не приехать заблаговременно, кто-нибудь может занять ваше место.

Поезд отходил в полночь, и Эшенден пообедал с Бенедиктом в привокзальном ресторане, похоже, единственном месте в этом занюханном городе, где еще прилично кормили. Народу хватало, обслуживали невыносимо медленно. Когда Эшенден и Бенедикт вышли на перрон, его уже запрудила толпа, хотя до отхода поезда оставалось два часа. Там расположились лагерем целые семьи, со всем своим скарбом. Люди метались взад-вперед или, стоя маленькими группами, о чем-то яростно спорили. Женщины кричали. Другие молча плакали. Двое мужчин честили друг друга. На перроне царил неописуемый хаос. В холодном, тусклом свете все эти люди бледными лицами напоминали мертвецов, ожидающих (терпеливо или встревоженно, в смятении или раскаянии) Страшного суда. Подали состав, и, как выяснилось, пассажиры уже до отказа забили большинство вагонов. Когда Бенедикт отыскал нужный вагон, из купе, в котором должен был ехать Эшенден, выскочил взволнованный мужчина.

— Заходите и садитесь. Я с огромным трудом удержал ваше место. Один тип заявился сюда, с женой и двумя детьми. Мой консул только что ушел с ним к начальнику станции.

— Это мистер Харрингтон, — представил мужчину Бенедикт.

Эшенден переступил порог двухместного купе. Носильщик занес багаж. Англичанин пожал руку своему попутчику, Джону Куинси Харрингтону, очень тощему, ростом чуть ниже среднего, с желтоватой кожей и большими, бледно-синими глазами.

Он снял шляпу, чтобы вытереть со лба пот, выступивший в результате всех этих волнений, и глазам Эшендена открылся крупный, плотно обтянутый кожей череп, со всеми его впадинами и выпуклостями. Наряд мистера Харрингтона составляли шляпа-котелок, черные пиджак и жилетка, полосатые брюки, рубашка с очень высоким белым воротничком-стойкой и аккуратно завязанный, неброской расцветки галстук. Эшенден плохо представлял себе, как должно одеваться для десятидневной поездки через Сибирь, но счел, что его сосед по купе излишне экстравагантен. Говорил американец высоким голосом, чеканя слова и с акцентом, по которому Эшенден признал в нем уроженца Новой Англии.

Через минуту появился начальник станции, сопровождаемый бородатым россиянином, переполненным эмоциями, заплаканной женщиной и двумя детьми, которых она держала за руки. Мужчина, по его лицу катились слезы, дрожащими губами что-то говорил начальнику станции, а его жена в промежутках между рыданиями рассказывала, по всей видимости, историю своей жизни. Когда они подошли к купе, градус разговора резко повысился, в него вступил и Бенедикт, изъяснявшийся на чистом русском языке. Мистер Харрингтон не знал ни единого русского слова, но от избытка чувств не смог молчать и на бойком английском принялся объяснять, что билеты на эти места куплены консулами Великобритании и Соединенных Штатов соответственно, и пусть он ничего не может сказать о короле Англии, ему доподлинно известно, что президент Соединенных Штатов никогда не допустит, чтобы американского гражданина лишили места в поезде, за которое он должным образом заплатил. Он, конечно, уступит силе, но только силе, а если к нему прикоснутся хоть пальцем, он тут же подаст жалобу в консульство. Все это и многое другое мистер Харрингтон высказал начальнику станции, который, разумеется, не имел ни малейшего понятия, что ему говорят, но отвечал не менее эмоционально, сопровождая свои слова бурной жестикуляцией. Такая реакция крайне распалила мистера Харрингтона, и, побледнев от негодования, яростно потрясая кулаком перед лицом начальника станции, он прокричал:

— Скажите ему, что я не понимаю ни единого его слова и не хочу понимать. Если русские желают, чтобы мы считали их цивилизованными людьми, почему они не говорят на языке цивилизованных наций? Скажите ему, что я — мистер Джон Куинси Харрингтон и приехал в Россию из Филадельфии, как полномочный представитель компании «Кру и Адамс», с рекомендательным письмом к мистеру Керенскому, и если мне не оставят это купе, мистер Кру поднимет этот вопрос перед администрацией президента в Вашингтоне.

Поведение мистера Харрингтона стало столь агрессивным, а жесты — столь угрожающими, что начальник станции, признав свое поражение, без единого слова развернулся на каблуках и двинулся прочь. За ним последовали и бородатый россиянин, и его жена, которые продолжали в чем-то его убеждать, и двое безучастных детей. Мистер Харрингтон вернулся в купе.

— Я очень сожалею, что отказался уступить свою койку женщине с двумя детьми. — Он еще весь кипел. — Никто лучше меня не знает, какое уважение я испытываю к женщине и матери, но я должен прибыть в Петроград именно на этом поезде, чтобы не потерять очень важный для моей компании заказ, и не намерен провести эти десять дней в коридоре даже ради всех матерей России.

— Я вас не виню, — кивнул Эшенден.

— Я женат, и у меня двое детей. Я знаю, как это трудно, путешествовать с семьей, но, насколько я себе это представляю, ничто не мешало этим людям остаться дома.

Если вас на десять суток запирают в купе железнодорожного вагона с другим человеком, скорее всего вы узнаете о нем все, что только можно, и даже чуть больше, и в каждых из этих десяти (если точно — одиннадцати) суток Эшенден проводил с мистером Харрисоном двадцать четыре часа. Да, конечно, трижды в день они ходили в вагон-ресторан, чтобы перекусить, но и там сидели напротив друг друга. Да, ежедневно поезд останавливался на час, утром и после полудня, и пассажиры могли размять ноги, походив по платформе, но гуляли они бок о бок. Эшенден познакомился и с несколькими другими пассажирами, иной раз они заходили в купе поболтать, но если говорили они только на французском или немецком, мистер Харрингтон взирал на них с выражением крайнего неудовольствия на лице, а если на английском — то не давал вставить в разговор ни слова. Потому что мистер Харрингтон очень любил поговорить. Способность говорить он воспринимал как естественную функцию человеческого организма, ничем не отличающуюся, скажем, от способности дышать или переваривать пищу. Далеко не всегда ему было, что сказать. Но он говорил, потому что ничего не мог с собой поделать, высоким, гнусавым, лишенным эмоций голосом, в одной тональности. Четко произносил каждое слово, тщательно строил фразы, его словарный запас поражал воображение. Он никогда не использовал короткое слово, если имелся более длинный синоним, никогда не прерывался на паузу. Говорил и говорил. Речи его ничем не напоминали бурную реку, не было в них ничего стремительного, скорее их следовало сравнивать с потоком лавы, выплеснувшимся на склон вулкана, который неспешно, но и неудержимо движется вниз, сокрушая все, что встречается на пути.

Эшенден думал, что нет второго такого человека, о котором он знал столько же, сколько ему пришлось узнать о мистере Харрингтоне, и не только о нем самом, но и о его взглядах на жизнь, привычках, финансовых обстоятельствах, а также о его жене и родственниках жены, о его детях и их школьных друзьях, о его работодателях и брачных союзах, которые они заключали три или четыре поколения с лучшими домами Филадельфии. Харрингтоны прибыли в Америку из Девоншира в начале восемнадцатого столетия, и мистер Харрингтон побывал в деревне, где на церковном кладбище покоились его далекие предки. Он гордился своим английским происхождением, гордился и тем, что родился американцем, хотя для него Америка являла собой узкую полоску суши, протянувшуюся вдоль Атлантического побережья, а американцами он полагал горстку людей с английскими и голландскими фамилиями, не попортившие кровь чужеродными примесями. Немцев, шведов, ирландцев, выходцев из Центральной и Восточной Европы, за последнюю сотню лет наводнивших Соединенные Штаты, он воспринимал незваными гостями. Старался не обращать на них внимания, как старая дева, живущая в уединенном особняке, старается не обращать внимания на заводские трубы, которые вторгаются в ее уединенную жизнь.

Когда Эшенден упомянул одного очень богатого американца, которому принадлежали несколько шедевров живописи, он услышал в ответ:

— Никогда с ним не встречался. Сестра моей бабушки, Мария Пенн Уормингтон, всегда говорила, что бабушка этого человека отменно готовила. Они расстались, когда ее подруга вышла, о чем тетя Мария очень горевала. По ее словам, она не знала никого, кто мог бы испечь такой вкусный яблочный пирог.

Мистер Харрингтон всем сердцем любил жену и невероятно долго, во всех подробностях, расписывал Эшендену, какая она образованная женщина и идеальная мать. Миссис Харрингтон отличало слабое здоровье, ей сделали много хирургических операций, и Эшендена ознакомили с мельчайшими деталями каждой. Сам Харрингтон дважды попадал под нож хирурга. Один раз ему вырезали миндалины, другой — аппендицит, и его стараниями перед глазами Эшендена прошел весь послеоперационный период, день за днем, со всеми ощущениями. Те или иные операции делали всем друзьям Харрингтона, так что в хирургии он обладал поистине энциклопедическими знаниями. Оба его сына учились в школе, и он серьезно задумывался, а не сделать ли операции и им. Любопытно, что у одного мальчика были увеличенные миндалины, а второй частенько жаловался на боли в животе. Ему еще не доводилось встречать двух братьев, которые были так привязаны друг к другу, как его сыновья, и один очень хороший друг мистера Харрингтона, лучший филадельфийский хирург, предложил прооперировать их одновременно, чтобы они не разлучались и в больнице. Он показал Эшендену фотографии мальчиков и их матери. Путешествие в Россию впервые за годы семейной жизни разлучило его с женой и детьми, и каждое утро он писал ей длинное письмо, рассказывая обо всем, что произошло за прошедшие сутки, и приводя многое из того, что он за это время говорил Эшендену или кому-то еще. Англичанин наблюдал, как мистер Харрингтон заполняет страницу за страницей ровным, разборчивым, четким почерком.

Мистер Харрингтон прочитал все книги об искусстве ведения беседы и блестяще владел приведенными в них методиками. В специальный блокнот он заносил все услышанные им истории и доверительно сообщил Эшендену, что всегда заучивает полдюжины, отправляясь в гости, чтобы не попасть впросак. Истории он маркировал буквой «О», если мог рассказать их за общим столом, или «М» — если они предназначались исключительно для грубых мужских ушей. Он специализировался на тех анекдотах, которые рассказываются очень серьезно, долго и нудно, с нагромождением массы подробностей, прежде чем завершиться вызывающей смех остротой. Мистер Харрингтон не упускал ничего, Эшенден уже заранее знал, чем все закончится, и ему приходилось переплетать пальцы рук и хмурить брови, чтобы не выдать свое нетерпение, а потом невероятным усилием воли выдавливать из себя мрачный, натужный смешок. Если кто-то заглядывал в купе, когда мистер Харрингтон рассказывал такой вот анекдот, американец сердечно его приветствовал:

— Заходите. Присядьте. Я как раз рассказываю моему другу одну историю. Вы должны послушать ее, она такая смешная.

И тут же начинал с самого начала, повторяя слово в слово, не пропуская ни одного удачно подобранного эпитета, пока не добирался до смешной последней фразы. Эшенден однажды предложил найти в поезде двух людей, умеющих играть в карты, чтобы скоротать время за бриджем, однако Харрингтон заявил, что не притрагивается к картам, а когда Эшенден в отчаянии принялся раскладывать пасьянс, поморщился.

— Это невероятно — интеллигентный человек тратит время на карты! Из всех видов пустого времяпрепровождения игра с самим собой, по моему разумению, наихудший. Он убивает беседу. Человек — существо социальное, и лучшие стороны его сущности раскрываются при общении с себе подобными.

— В трате времени попусту есть что-то изысканное, — возразил Эшенден. — Любой дурак может потратить деньги, но растрачивая время, вы транжирите бесценное. А кроме того, — едко добавил он, — мое занятие не мешает вам говорить.

— Как же мне говорить, вы думаете только о том, как бы заполучить черную семерку и положить ее на красную восьмерку. Беседа требует величайшего напряжения интеллектуальных способностей. И тот, кто вникал в этот вопрос, имеет право ожидать, что человек, с которым он разговаривает, отнесется к этому разговору со всем возможным вниманием.

Упрека в его голосе не слышалось — лишь добродушное терпение человека, который не раз и не два попадал в аналогичную ситуацию. Он всего лишь заявлял, что Эшенден может согласиться с его позицией или отвергнуть ее. То был призыв художника воспринимать его творения со всей серьезностью.

Мистер Харрингтон читал много и усердно. Обычно с карандашом в руке, подчеркивая те фразы и абзацы, которые привлекли его внимание, и аккуратным почерком записывая на полях комментарии к прочитанному. Комментарии эти ему нравилось обсуждать, и у Эшендена нередко начинало биться сердце, когда он, сам читая книгу, вдруг замечал, что мистер Харрингтон, с книгой в одной руке и карандашом в другой, смотрит на него большими блеклыми глазами. Он не решался взглянуть на попутчика, не решался даже перевернуть страницу, поскольку знал: мистер Харрингтон воспримет сие как повод разразиться очередной речью. Вот и сидел, уставившись на одно-единственное слово, словно цыпленок, уткнувшийся клювом в меловую черту, и переводил дух, лишь осознав, что мистер Харрингтон отказался от попытки завязать разговор и продолжил чтение. В это время он изучал «Историю американской конституции» в двух томах, а для отдыха внимательно прочитывал толстенную книгу, в которой издатели, по их словам, включили знаменитые речи всех времен и народов. Мистер Харрингтон обычно выступал после званых обедов, а потому ознакомился со всеми лучшими книгами по ораторскому искусству. Он точно знал, как наладить контакт с аудиторией, когда произнести важные слова, которые тронут сердца слушателей, умел захватить их внимание парой уместных анекдотов, а затем, с подобающим случаю красноречием, эффектно закончить выступление.

Мистер Харрингтон обожал читать вслух. Эшенден часто замечал пристрастие американцев к подобному времяпрепровождению. В гостиных отелей, вечером после обеда, он не раз становился свидетелем того, как отец семейства, восседая в дальнем углу в окружении жены, двух сыновей и дочери, читал им какую-нибудь книгу. На океанских лайнерах, пересекающих Атлантику, он порой с благоговейным трепетом наблюдал за каким-нибудь высоким, худощавым, с командирскими замашками джентльменом, сидевшим в окружении пятнадцати дам не первой молодости и зычным голосом читающим «Историю искусств». Прохаживаясь взад-вперед по прогулочной палубе, он постоянно натыкался на молодоженов, устроившихся на шезлонгах, и обычно слышал голосок новобрачной, читающей мужу модный роман. Такой способ выказывания привязанности казался ему странным. У него были друзья, которые предлагали почитать ему вслух, и он знал женщин, говоривших, что они любят, чтобы им читали, но всегда вежливо отказывался от такого предложения и игнорировал намек. Он не любил ни читать вслух, ни слушать, как ему читают. В глубине души считал, что склонность американцев к такому занятию — едва ли не единственный недостаток их почти идеального национального характера. Но бессмертные боги обожают посмеяться над человеческими существами, вот и положили его, связанного и беспомощного, под нож верховного жреца. Мистер Харрингтон полагал себя отменным чтецом и объяснил Эшендену теорию и практику художественного чтения. Эшенден узнал, что существует два основных направления: драматическое и естественное. В первом случае чтец имитирует голоса тех, за кого говорит (если читает роман), и когда героиня голосит от горя, чтец тоже должен голосить, а если она осипла, чтецу положено последовать ее примеру. Представители второго направления читают роман бесстрастно, как прайс-лист в какой-нибудь чикагской фирме, торгующей по каталогам. К этому направлению принадлежал и мистер Харрингтон. За семнадцать лет семейной жизни он читал вслух сначала жене, а потом и сыновьям (едва те достаточно подросли, чтобы понимать, о чем речь) романы Вальтера Скотта, Джейн Остин, Диккенса, сестер Бронте, Теккерея, Джорджа Элиота, Натаниэля Готорна и У. Д. Хауэллса.[[1]](#footnote-1) Эшенден пришел к выводу, что чтение вслух — плоть от плоти мистера Харрингтона, и попытки удержать его от этого занятия выбивают американца из равновесия точно так же, как заядлого курильщика — отсутствие табака. И он постоянно стремился застать Эшендена врасплох.

— Вы только послушайте, — восклицал мистер Харрингтон, — и вы должны это послушать, — словно его внезапно поразил блестящий афоризм или мастерски выстроенная фраза. — А потом скажете, согласны ли вы с тем, что мысль эта сформулирована исключительно удачно. Всего три строчки.

Он зачитывал их, и Эшенден уже соглашался высказать свое мнение, но мистер Харрингтон, не останавливаясь даже для того, чтобы набрать в легкие воздух, продолжал читать. Просто продолжал. Продолжал и продолжал. Высоким, размеренным голосом, безо всякого выражения, читал страницу за страницей. Эшенден ерзал по койке, закидывал ногу на ногу, менял ноги местами, подносил зажженную спичку к сигарете, докуривал ее до конца, садился то так, то этак. Мистер Харрингтон читал и читал. Поезд лениво полз по бескрайним сибирским равнинам. Они проезжали города и пересекали реки. Мистер Харрингтон все читал. А закончив великую речь Эдмунда Бёрка, с победным видом отложил книгу.

— По моему разумению, одна из величайших речей на английском языке. Она — несомненная часть нашего общего наследия, которой мы можем гордиться.

— Вас не смущает тот, в определенной степени печальный факт, что люди, к которым обращался Эдмунд Бёрк, давно уже умерли? — мрачно спросил Эшенден.

Мистер Харрингтон уже собрался ответить, что едва ли стоит этому удивляться, поскольку означенную речь Эдмунд Бёрк произнес в восемнадцатом столетии, как вдруг до него дошло, что Эшенден (сохранявший всю ту же мрачность, что подтвердил бы непредвзятый наблюдатель) пошутил. Он хлопнул себя по колену и громко рассмеялся:

— Ха-ха! Отлично сказано! Я запишу это в свой блокнот. Уже вижу, как повторяю ваши слова, выступая после ленча в нашем клубе.

Мистер Харрингтон относил себя к «высоколобым», но это прозвище, в устах простонародья звучащее бранью, воспринимал, как символ мученичества (вроде раскаленной решетки, на которой поджарили святого Лаврентия, или пыточного колеса, на котором переломали кости святой Катерине), как почетный титул. Гордился тем, что его так называли.

— Эмерсон был высоколобым, — говорил он. — Лонгфелло был высоколобым. И Оливер Уэнделл Холмс, и Джеймс Рассел Лоуэлл.

В изучении американской литературы мистер Харрингтон не продвинулся дальше того периода, когда творили эти известные, но довольно-таки скучноватые писатели и поэты.

Занудство мистера Харрингтона не знало предела. Он раздражал Эшендена, злил, выматывал ему нервы, доводил до белого каления. Но англичанин не испытывал к нему неприязни. Самодовольство мистера Харрингтона простиралось за горизонт, но было столь искренним, что сердиться на него не представлялось возможным, а его тщеславие, такое детское, могло вызвать лишь улыбку. Мистера Харрингтона отличали такая доброжелательность, такая участливость, уважительность, вежливость, что у Эшендена, пусть иной раз ему и хотелось убить американца, возникла к нему некая симпатия. Манеры его были изысканными, формальными, чуть надуманными (в этом нет ничего дурного, ибо хорошие манеры — показатель степени искусственности общества, а потому никуда не деться от толики напудренных париков и кружевных оборок). Приобрел он их благодаря достойному воспитанию, а доброе сердце лишь добавило им выразительности. Мистер Харрингтон не считал за труд помочь ближнему своему, оказать посильную поддержку. Он был необычайно serviable.[[2]](#footnote-2) Возможно, это слово, для которого не существует точного перевода, потому что столь милая черта характера не так уж часто встречается среди тех, кто нас окружает. Когда Эшенден на пару дней приболел, мистер Харрингтон трепетно за ним ухаживал. Эшендена смущала такая заботливость, и пусть его корчило от боли, он не мог удержаться от смеха, вызываемого и суетливой обстоятельностью, с которой мистер Харрингтон измерял ему температуру, и залежами лекарств, которые американец извлекал из аккуратно уложенного саквояжа, а потом пытался скормить ему. Тронуло Эшендена и другое: мистер Харрингтон заказывал в вагоне-ресторане те блюда, которые, по его мнению, мог есть англичанин. Он делал для больного все, что только возможно, за исключением одной малости: не переставал говорить.

Замолкал мистер Харрингтон, лишь когда одевался. В такие моменты его целомудренный ум занимала лишь одна проблема: как переменить одежду на глазах попутчика, не показавшись бестактным. Его отличала какая-то запредельная скромность. Нижнее белье он менял ежедневно. Аккуратно доставал из чемодана чистое и аккуратно укладывал в него грязное. При переодевании проявлял чудеса находчивости, дабы не явить свету ни дюйма голого тела. Через день или два Эшенден прекратил борьбу за чистоту и аккуратность, признал, что их поддержание немыслимо в этом грязном поезде, с одним туалетом на весь вагон, а вот мистер Харрингтон не пожелал пасовать перед трудностями. Положенные гигиенические процедуры он выполнял тщательно и неторопливо, не обращая внимания на нетерпеливых пассажиров, дергающих дверную ручку, и каждое утро возвращался из туалета вымытым, сияющим чистотой и благоухающим запахом мыла. Одевшись, в черном пиджаке, полосатых брюках и начищенных до блеска туфлях, выглядел он так элегантно, словно только что вышел из своего ухоженного, маленького домика из красного кирпича в Филадельфии и собирается сесть в трамвай, чтобы поехать на работу. В какой-то момент в поезде объявили, что находящийся впереди мост пытались взорвать, на первой после реки станции начались беспорядки и, возможно, пассажиров выгонят из вагонов, бросят на произвол судьбы, а то и возьмут в плен. Эшенден, подумав о том, что может лишиться всего багажа, натянул на себя самую теплую одежду, чтобы в меньшей степени пострадать от холода, если уж придется зимовать в Сибири. А вот мистер Харрингтон не внял голосу разума, не стал готовиться к худшему, и Эшенден подумал, что его попутчик, даже проведя три месяца в российской тюрьме, вышел бы оттуда опрятным, даже щеголеватым. Отряд казаков загрузился в поезд. Они стояли в тамбурах каждого вагона, с заряженными винтовками. Состав прогрохотал по поврежденному мосту. Потом они подъехали к станции, где произошли беспорядки, чреватые немалой для них опасностью. Машинист развел пары, и они стремительно пронеслись мимо пустого перрона. Мистер Харрингтон позволил себе ироничную улыбку, наблюдая, как Эшенден вновь переодевается в летний костюм.

Чувствовалось, что мистер Харрингтон — опытный, знающий свое дело бизнесмен. Не вызывало сомнений, что провести его практически невозможно, и Эшенден пришел к выводу, что работодатели мистера Харрингтона поступили мудро, отправив с этим поручением именно его. Он, безусловно, положил бы все силы на то, чтобы соблюсти их интересы и заключить сделку с русскими, какой бы сложной она ни была. Того требовала его верность компании. О владельцах он говорил с благоговением. Любил их и гордился ими, но не завидовал, потому что все они были очень богаты. Статус наемного работника вполне устраивал мистера Харрингтона, и он полагал, что за свой труд получает адекватное вознаграждение. Деньги особенно его и не волновали, при условии, что он мог дать образование детям и оставить вдове достаточно средств для существования. Он придерживался мнения, что быть богатым — вульгарно. Считал, что образованность важнее денег. Но предпочитал не тратить их попусту, и после каждого посещения вагона-ресторана записывал в маленький блокнот, сколько и на что потратил. Его компания могла не сомневаться: он бы не взял с них лишнего цента, только сумму, действительно ушедшую на дорожные расходы. Однако, увидев, что на станциях бедняки подходят к поезду и просят милостыню, потому что война действительно довела их до крайней нужды, он запасался мелочью и, смущаясь, посмеиваясь над собой за то, что поддается на уловки таких вот мошенников, раздавал все, до последней монетки.

— Разумеется, я знаю, что они этого не заслуживают, — объяснял он, — и делаю я это не для них, а для собственного морального спокойствия. Я буду корить себя при мысли о том, что какой-то человек действительно голодал, а я отказался дать ему денег на кусок хлеба.

Мистер Харрингтон был нелепым, но таким милым. Непостижимой казалась сама мысль о том, что кто-то может обойтись с ним грубо. Никому же не придет в голову ударить ребенка. Вот и Эшенден, пусть внутри все кипело, добродушно улыбался, молча страдал и с христианским смирением сносил все невзгоды, обрушенные на него обществом этого мягкого, безжалостного существа. Тому поезду потребовалось одиннадцать суток, чтобы доехать от Владивостока до Петрограда, и Эшенден чувствовал, что больше он бы не выдержал. Если бы путешествие затянулось еще на один день, он бы убил мистера Харрингтона.

Когда же наконец (Эшенден — усталый и грязный, мистер Харрингтон — свеженький и изрекающий расхожие истины) они добрались до окраин Петрограда и стояли у окна, глядя на скопище домов, мистер Харрингтон повернулся к своему попутчику:

— Никогда не думал, что одиннадцать дней могут пройти так быстро. Мы чудесно провели время. Я наслаждался вашей компанией и знаю, что вы остались довольны моей. Не буду скромничать, я знаю, что умею поддержать разговор. Раз мы вместе прибыли сюда, думаю, нам и дальше надо держаться вместе. Почаще видеться, пока я буду в Петрограде.

— У меня полно дел, — ответил Эшенден. — Боюсь, мое время будет принадлежать не только мне.

— Понимаю, — кивнул мистер Харрингтон. — Я и сам буду очень занят, но мы можем вместе завтракать и встречаться по вечерам, чтобы обменяться впечатлениями. Не хотелось бы, чтобы нас разнесло в разные стороны.

— Не хотелось бы, — эхом отозвался Эшенден.

1. Хауэллс, Уильям Дин (1837—1920) — известный американский писатель, основоположник американской социальной прозы. В СССР и России его произведения практически не переводились. [↑](#footnote-ref-1)
2. Serviable — услужливый *(фр.).* [↑](#footnote-ref-2)